

Борис Равдин, Сергей Дауговиц, Людмила Спроге

Из воспоминаний о Л.С. Сидякове

Борис Равдин

Шел 1965 год...

Не успел я в 1961 году поступить в университет, как нам раздали список тем для будущих курсовых работ. Я выбрал себе «Четверть лошади» Г. Успенского. Почему? Да название показалось смешным. Товарищи мои на мой выбор посмотрели с некоторым недоумением.

Я не успел даже прочесть «Четверть лошади», как меня забрали в армию (в тот год, благодаря Н.С. Хрущеву, забирали и с дневного). Вернулся через три года и собирался заняться искомой «Четвертью лошади», но по разным причинам мне пришлось отказаться от этой идеи. Тем более, что мне объяснили: если чем-то и заниматься, так только у Льва Сергеевича Сидякова первой половиной XIX века или у Дмитрия Даниловича Ивлева поэзией XX века. А если заниматься у Льва Сергеевича, то Лев Сергеевич еще ведет Пушкинский кружок, где можно говорить не только о Пушкине, но о литературе вообще, поскольку Пушкин — это наше все. И тут нам опять раздали список тем для будущих курсовых работ. На сей раз я выбрал пушкинскую оду «Вольность». Почему? Отчасти из-за названия, а отчасти, как говорится, бессознательно, по целому ряду других причин, которые только позднее стали мне приоткрываться. Стихотворение «Вольность» и сегодня мне кажется богатым во многих отношениях, хотя в последние годы это стихотворение Пушкина все чаще зачисляется в ряд ряд юношеских, незрелых, сомнительных.

С этим стихотворением связано мое пер-

вое «открытие». Напомню строчки из «Вольности»:

Открой мне благородный след
Того возвышенного Галла,
Кому сама среди славных бед
Ты гимны смелые внушала.

Среди кандидатов на звание «возвышенного галла» чаще всего назывались имена Андре Шенье, Экушара Лебрена, Руже де Лиля. Ни одна из этих кандидатур меня не устраивала. В «возвышенного галла» я предложил уже не помню кого, кажется, А. Радищева. Почему, на каких основаниях? Подыскать нужные основания было проще пареной репы! Я сидел на консультации у Льва Сергеевича (факультет еще на Ленина, 32) и один за другим выкладывал свои доводы, разрушавшие утверждения, предположения, гипотезы Томашевского, Слонимского, Оксмана... Лев Сергеевич был невозмутим, был со мною столь корректен, что невольно укреплял меня в моих предположениях — Радищев, и никаких гвоздей!

У окна(?), за столом, сидела Юлия Ивановна Сидякова, ведавшая на кафедре организацией учебного процесса. Юлия Ивановна очень тепло относилась к студентам, в том числе и ко мне. Ища поддержки в своей борьбе за Радищева, я повернулся в сторону Юлии Ивановны, которая, как мне казалось, слышит наш разговор со Львом Сергеевичем. Так вот, я обернулся в сторону Юлии Ивановны и увидел ее очевидно недоуменный взгляд — реакцию на мой вздор. Тут я, должно быть, осекся и тихонько удалился с кафедры под предло-

жение Льва Сергеевича придти на следующую консультацию, подкрепив свою радищевскую концепцию еще парой-тройкой аргументов.

Спасибо, Лев Сергеевич, за науку. Спасибо, Юлия Ивановна!

Несколько эпизодов из воспоминаний о Льве Сергеевиче Сидякове

Сергей Дауговитш

Впервые мне посчастливилось встретиться с этим человеком в день подачи документов на конкурс.

Латвийский университет казался выпускнику «задвиньковской» школы как раз тем местом, где все «словесные науки днесь цветут».

Однако трепетное ожидание скорого студенческого счастья вовремя и заботливо было пресечено дельным предложением Льва Сергеевича «погодить» и явиться пред очи приемной комиссии... «спустя год»!

Решение это оказалось разумным и абсолютно реалистичным.

Мне предстояло обновить «Характеристику», в которой речь шла о «неправильном понимании» всего того, что считалось школьным начальством абсолютно верным, не подлежащим какому-либо юношескому сомнению.

Проработав весь следующий год курьером на швейной фабрике, мне наконец-то удалось осуществить задуманное. Позднее я узнал, что многим, кто устремлялся «в мир филологии», приходилось частенько разгружать на железной дороге вагоны с капустой и таскать мешки с зерном.

Ведь иначе тебя всегда могли бы отнести в разряд «тунеядцев» или, по крайней мере — «стиляг».

Наш «Лев» был европейски известным пушкинистом, плодотворно сотрудничавшим с академическими и научными институтами Петербурга, Тарту, Таллинна. Среди его друзей, коллег и учеников были выдающиеся интерпретаторы прозы, поэзии и драматургии А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Н.М. Карамзина.

Замечательными продолжателями тру-

дов Льва Сергеевича стали Роман Тименчик, Лазарь Флейшман, Борис Равдин, Александр Белоусов.

Весьма благосклонно отнесся Сид (студенческое прозвище ЛС) к моим ранним потугам в области прикладной «достоиевистики».

Это был семинар, руководимый Элгой Станке, которая частенько прибежала к прямой пикировке или же косвенному «оуждению» своих «противников». И первым из таковых ей почему-то казался Лев Сергеевич, сочувственно и с нескрываемым интересом присматривавшийся к успехам начинающих исследователей, «углубившихся» в композиционные тонкости «Преступления и наказания».

Независимость суждений, строгий академизм, дар научного толкования источников, широкая эрудиция и, особенно, благосклонное внимание к умонастроению, характеру, способностям каждого студента. Это и есть «секрет» привлекательности настоящего человека науки.

Будучи уже в преклонных годах, Лев Сергеевич, надо полагать, не имел «удовольствия» соприкоснуться с псевдонаучной и донельзя странной модой ниспровержения Пушкина, состоявшей в «срочной» замене «имперского» поэта идеологически «правильным» Нестором Кукольниковым...

Что вспомнилось...

Людмила Спроге

— Почему он — «лев»? Вы так его дразните? — лепетало детсадовское дитя, когда я в спешке вместе с ней забежала к Сидяковым, нашим соседям, за корректурой сборника. — Зовите его «Николай Николаевич», а не Лев, так лучше. Он — хороший, — убеждала меня дочка по возвращению домой. — Понравилось тебе в гостях? — Очень! Потому что у них живет собака и висит страшная белая маска с мертвого Пушкина, а тетю тоже зовут Юля и Роман Тименчик говорит мне «Вы»; мама, а что такое «пушкинист»?

Дети тянулись ко Льву Сергеевичу Сидякову, хотя он никогда с ними не сюсюкал, речь держал как со взрослыми, студентами, но ребенок нутром чувствовал его интерес к тому, о чем рассказывается, непритворность

и уважение к своей личности. Я с удивлением замечала, как неразговорчивый, стеснительный ребенок моей коллеги увлеченно говорил серьезно слушающему Льву Сергеевичу о своей игрушечной коллекции, а другой — читал наизусть стихи. Казалось, сейчас молчание слушателя прервется вопросами, какие задавались на семинарах и зачетных мероприятиях и в смущении покраснеют мать и сын, но нет, тот же «лекционный» бесстрастный голос спрашивал, дополнял, продолжал беседу о самом заветном. Станным было видеть профессора Сидякова вне окружающей его академической сферы, непривычными и неожиданными были его вопросы, не касающиеся профессиональной тематики. Это — первое мое восприятие будущего коллеги по кафедре русской литературы.

В стремительно промелькнувшие студенческие годы притягивало все яркое, громкое, необычное, и классические курсы, читаемые Л.С. Сидяковым, воспринимались мной как обыденная повинность: к зачетам и экзаменам по его предметам надо было готовиться тщательней, сверяясь с конспектами лекций, спрашивал он подробно, особенно об источниковедческой и библиографической базе рассматриваемой темы, а хотелось заниматься не пушкинским периодом, а полумалчиваемым Серебряным веком, поэтами, которых не было в учебных программах, чьи стихи вписывались в заветные блокнотики. Сколько таких рукописных книжек было и сколько семестров ушло на их приготовление в наше до-ксероксно/компьютерное время! Дипломную работу я защищала под руководством другого преподавателя. И лишь в аспирантуре судьбоносность присутствия профессора Сидякова в моей жизни стала очевидной, именно он указал мне на Тартуский университет, где регулярно проводились Блоковские конференции. И насчет кандидатуры научного руководителя, пошутив: «что, дескать, счастья за морем искать» (имея в виду московско-ленинградскую профессуру), указал мне на Зару Григорьевну Минц — лучшего исследователя творчества А. Блока и русского символизма в целом. И не только указал, но и «сосватал», переговорив и получив ее согласие. Помню, как он осторожно и тактично, считаясь с моим по молодости самоуверенным пылом, давал советы «дробными порциями», как следует подготовиться к выбору диссертационной темы перед поездкой в Тарту, а после интере-

совался моим рефератом на первой научной конференции и разрешал мне пользоваться его монументальной домашней библиотекой! Вот когда я начала осознавать всю серьезность и основательность его работы над курсом лекций, семинарских занятий, подготовкой статьи или комментария к стихотворным строчкам. Тогда же захотелось вновь прослушать его спецкурсы, услышать непревзойденное по профессионализму чтение им лирических текстов (без артистической выразительности и истеричной эмоциональности, от которых порой в аудитории испытываешь чувство неловкости и стыда за лектора). Полуобщая тетрадь, отведенная под лекционные конспекты, моментально заполнилась. Возвращаясь из университета одним трамвайным маршрутом, мы продолжали беседу о том, что оставалось «за кадром» лекционных будней. Открывался вроде бы уже знакомый, но более властно волновавший мир исследовательских стратегий, научных школ и внезапных озарений. Постепенно выкристаллизовывалось, что «корректно» в исследовательском сюжете, а что — «так себе». Предложенная гостеприимной Юлией Ивановной чашка чаю, стеллажи книг, дробящие комнатное пространство на узкие «коридоры», широкий письменный стол, на котором стопочкой лежат заполненные черной чернильной авторучкой листки, а один, только начатый, — отложен из-за моего прихода. На нем — характерным почерком бегущая вверх фраза: «...проследить их дальнейшую литературную судьбу...». Все это действовало заразительно, хотелось тут же присесть к столу и ...«перстам придать послушную сухую беглость и верность уху...». В начале 1980-х годов Лев Сергеевич, решая продолжить серию рижских пушкинских сборников, говорил и в Тарту, и в других университетских городах о творческом потенциале нашей «помолодевшей» кафедры. В это десятилетие он был инициатором и организатором больших международных научных конференций, что осуществить было делом не простым и крайне хлопотным. Как четко и углубленно шла работа над программой конференций, формированием секций, изданием материалов конференции! А параллельно профессор Сидяков (не будучи заведующим кафедрой!) погружался в дебри учебных планов и программ, разработку и корректировку читаемых коллегами курсов, утверждением научных тем для дипломантов и аспирантов и даже — распределением

учебно-методической годовой нагрузки преподавателей! Сборник «Проблемы пушкиноведения» (Рига, 1983) был несомненной удачей научной работы кафедры (читай: неутомимой деятельности профессора Л.С. Сидякова). В сборник, где наряду с «Тремя заметками...» Ю.М. Лотмана и статьями известных учеников профессора — «сидяковцев» (как именovala их одна из коллег старшего поколения), зачинателей легендарного «Пушкинского кружка» в 60-е годы, были включены и публикации аспирантов нашей кафедры. Мне он тоже предложил подготовить статью в сборник, пошутив: «Я пока не знаю такого русского филолога, который хотя бы раз «не согрешил» на тему Пушкина». У этого издания были и недоброжелатели как в родном, так и в «чужом» пространствах; Льва Сергеевича остро кольнула фраза одного научного чинуши: «Вы — Запад и никак не можете без Лотмана!» Со вторым сборником «Пушкин и русская литература» (Рига, 1986) начались уже серьезные, «главли-товские» проблемы, дошедшие до университетского начальства в преувеличенном виде. Шел уже второй год «перестройки», когда открывались «шлюзы», и имена «непечатных и неприносимых» литераторов то и дело заполняли газетные полосы и журнально-книжные. В этой до конца не ясной атмосфере уже нельзя было запросто убрать из сборника двух авторов с их статьями. Но полагалось «бдить»! Угроза тучей нависала над выходом сборника в свет и редактору-профессору предложили «принять меры» по отношению к неблагонадежным авторам, заставить их «переделать», на что мы никак не соглашались, или иначе завершить финал статей. Мы явились к Сидяковым домой, где нас сразу же усадили за чайный стол с угощениями домашней выпечки, и стали, между прочим, поругивать отсталых цензоров, которых пока не высветил и не просветил «прожектор перестройки», а на предложение дописать уже завершенную ста-

тью Роман Давыдович Тименчик отпарировал сразившей меня фразой: «Здесь статья кончается!». Он работал тогда в рижском ТЮЗе, а я на кафедре, и посему удостоилась выговора от высокого университетского начальства — почему я пишу о белоэмигрантах? На мой ответ, что этот литератор не мог быть белоэмигрантом, так как уехал из России в Швейцарию в 1913-м году, мне назидательно заметили, что в октябре-то 1917-го года он, ведь, в Россию не вернулся... После этой неоспоримой фразы пошли выговоры о том, как плохо для престижа ЛГУ имени П. Стучки такие двусмысленные сборники... такие статьи... такие авторы статей... Тут ректор, понизив голос, спросил, почему в этом издании, где я еще и член редколлегии, среди авторов статей так много лиц «определенной национальности»? Я, округлив глаза, честно спросила: «Русских или латышей?» Он моментально прекратил разговор с «дури», посетовав, что в Тарту я и набралась этой «дури», что в будущем не сулит мне ничего хорошего...

Лев Сергеевич молча, внутри себя, переживал все неприятности, не любил в свои тревоги посвящать кафедральное окружение по принципу — всем раздать по полкило и самому, вишь, легче... Я лишь однажды была свидетельницей его слез: тяжело больной, но продолжавший, хоть и с малой нагрузкой, преподавать в аудиториях факультета, он оплакивал, спустя месяцы, кончину своей жены... И кажется, что его серьезная болезнь прогрессировала именно из-за этой внешней сдержанности, этого видимого посторонним оком respectable спокойствия, ровного тона в то время, когда внутри все бушует и жжет. А натура его была эмоциональной, даже страстной. «Такой жадный до работы!», — сетовала после инсульта на его научную, административную и лекционную деятельность Юлия Ивановна. Эта «жадность» и была «тем блистательным огнем в сосуде», и, верится, что «огнь этот не погас»...